



ЧТО СКАЖЕТ СОЛНЫШКО?

Михаил Александрович Тарковский родился в 1958 году в Москве. Окончил Московский государственный институт им. В.И. Ленина и Литературный институт им. А.М. Горького. Работал зоологом на Енисейской биостанции, штатным охотником. Ныне охотник-арендатор в селе Бахта Туруханского района Красноярского края. Писатель, редактор альманаха «Енисей», публиковался в журналах «Новый мир», «Юность», «Москва», «Наш современник», «День и Ночь» и др. Лауреат премий журнала «Наш современник», «Ясная Поляна» (2010), Патриаршей литературной премии за вклад в развитие отечественной литературы (2019).

*Светлой памяти
Наталии Валерьевны Моралёвой
посвящается*

Рыбник

Уму непостижимо! Первая осень в тайге, да ещё с братом...

Как сейчас помню предотъездные дни: Старшой избегался-иссобирался до такой низкой и сизой облачности в лице, что даже монументальный Таган, серый кобель западносибирской лайки, сидя на цепи и сдерживая предпромысловую дрожь, несолидно поскуливал на метания хозяина со шлангами и канистрами.

Облачность на лице Старшого грозила колючей крупкой. Он пробежал к тракторёнку, жгуче дыхнув на меня черемшой, а дальше всё походило на какую-то панику, запой, громождение ящичков, канистр, мешков из так называемой «стекляшки», мягкой пластиковой плетёнки.

Плоская, как лапша, нитка, если порвётся и расплетётся, то необыкновенно противно цепляется за углы ящичков, железяки и оказывается неожиданно крепкой, пружинящей.

В телеге такой мешок, туго и бугристо набитый капканами, навалился на железную печку, свежесваренную, с зубастыми необтёртыми углами, с синей окалиной и заусенцами. Мешок зацепился, и когда на берегу его рванул Дяа Стас, здоровенный Старшовский шуряк, то выдралась дыра с мочалом ниток. Вывалился капкан и волочился на привязчивой жилине. Мой брат в ней запутался, а Старшой с грозовой синью в очах рыкнул: «Помощнички!» — и тут же улыбнулся, но как-то постепенно, мутно-солнечно, начиная с глаз. Он помог брату выпутаться, а капкан бросил в лодку, но тот не долетел и, гулко ударив в борт, упал в воду. Старшой его достал и положил на бортовую доску-протопчину. Синеватый чуть в копоть и чуждо пахнущий фабрикой, он холодно горел в осеннем серебряном свете. На сальной от смазки тарелочке кругло лежали капли. Сомкнутые дуги молчали.

Всё, наконец, оказалось загруженным в деревянную длинную лодку, и мы с братом, не веря счастью, уже сидели на носу среди груза, я — на железной печке, а брат на сундуке, и восторженно вдыхали пряный

осенний воздух. Десятками запахов говорили эти берега, травяной прелью, полынной и тальниковой горечью. Когда лодку догонял ветер, нас обдавало масляной гарью мотора, а из сундука несовместимо сочился запах рыбного пирога.

Едва Старшой оказался за румпелем, лицо его окончательно разъяснилось и последнее рваное облачко раздражения уже не делало погоды: сухое и крепкое лицо ровно и одухотворённо горело осенним солнцем.

В перекате на меляке буквально под бортом торопливо занырнул-исчез крохаль*. Вытянув шею, я увидел его совсем рядом и поразился, как, помещённый в тонкий пласт воды, он, плоско изменившийся, уверенно и тягуче-гибко выгребал крыльями и как, преображённые изумрудной водой, ярко горели на них белые зеркала.

Таган сидел в самом носу, нервно и величественно вдыхая ветер. Мы ехали в каком-то тихом восторге, и только в узком и скалистом месте, где начался порог с пенным косым валом, стало неуютно и захотелось слиться с лодкой, сравняться с бортами, обратиться в какой-нибудь плоский бак или рулон рубероида. Брат нарочито громко зарасуждал об осенних запахах, которые богаче весенних именно

* Крохаль — порода широко распространённой в таёжных реках рыбацкой утки

из-за «этой перепрелости», а потом вдруг спросил, нравится ли мне Николь. Я пожал плечами. Во-первых, она мне совершенно не нравилась, а во-вторых, вся эта Николь никак и нисколь не шла окружающей обстановке. Особенно с её напружиненными кудрями и с идиотическим именем.

На третий день к вечеру мы были на месте. Часть груза предполагалось увезти вверх, а часть оставить здесь — на базе, состоящей из просторной избы, бани и снегоходного гаража. Особенно впечатлил нас лабаз для рыбы и прочей добычи на четырёх ногах. Ноги его были обёрнуты полиэтиленом.

— Чтоб мыши не залезли! — догадался я. И мы с братом хотели, представляя, как смешно срываются мыши, перебирая лапками и пища от возмущения.

Молодость есть молодость. Старшой сосредоточенно подсчитывал, сколько батареек и пулек пойдёт в какую избушку, и помощи от нас не требовал: подозреваю, даже хотел, чтобы мы не мешали. А мы и не лезли: привыкшие к плоскому Енисею, мы никак не могли оторвать глаз от волнистых гор, от реки, какой-то необыкновенно ладной, совершенной в каменных своих стенах...

Уже стемнело. Почернели берега. Река шумела с пространной задумчивой мощью, каждый камень, каждый скальный обломок давал пенный завиток тече-

ния, и шум складывался из сотен таких завитков и стоял сплошь. Мы прогулялись вверх до ручья и, развернувшись, остановились. Старшой копался у груза. Мелькал льдисто-голубой налобный фонарь, и в нарождающемся туманчике мутно-дымно пролеялся, клубисто креп и длиннел его луч. Старшой что-то доставал, перекладывал. Потом вдруг побежал вниз к лодке, и оттуда остро пахло бензином. Видно, поставил наливать бензин для генератора и замешкался, разбирая груз, а он перелился. Потом ушёл в избушку. Всё это выяснилось, когда мы подошли. Картина была следующей: край брезента откинут с сундука. А рядом на бочке картонный ящик с рыбником.

— Опа... — поёжившись, сказал брат. — Ну чо. Всё вроде сделали. Доехали. Да, Серый?

— Ну, я думаю, да...

— Эх, давно ли я так вот мечтал... С братом... Слушай, — он с силой втянул воздух, — ммм... Я прямо чувствую эту осень. Знаешь, у некоторых вечно «надо втянуться, присмотреться...» Будто бояться, что не сдюжат. А я уже знаю — сдюжу! Потому что моё!

— Утром точно заморозок будет! Звёзды такие... Прямо мороз по коже...

— Ну. Праздник. Знаешь... Эта даль, эти запахи, и... этот пирожище. И звёзды... Пирог и звёзды! Угощайся, друга.

— По-моему, нельма.

— Ну. Обалденный. Всё-таки тётка Светлана первоклассно стряпает. Тут ещё со стерлядкой!

— Да ты чо? Давай его сюда.

— Не жрамши с утра.

— Да понятно. Старшой-то перехватил, поди.

— И не раз. Он в лодке из термоса пил. Ну, давай!

— И из фляжки тоже, хэ-хэ. Не обидит себя. Хрящики классные.

Совсем стемнело, подстыло, и тянул ночной хиусок из горного ручья. Дым от костра и избушки совсем положило на берег, и он смешался с туманом. Пахло теплом, жильём и речным берегом. Отяжелелые от впечатлений и ужина, мы с братом не спеша поднялись к избушке, чувствуя, как подбирается к телу молодой сон.

Раннее сонно-тёмное утро выдернуло меня из будки мощным рывком Старшовой руки и громовым окриком: «Ну и как рыбничек?» Я тут же был посажен на цепочку и одновременно отлуплен. Братец было ломанулся наутёк, но Старшой настолько грозно вскричал: «Рыжик, падла, стоять!», что тот упал, как подстреленный, и пополз, прижав уши. «Будешь по ящикам шариться, козёл?! Будешь?!» Рыжика подцепили, и он тут же, кругло поджав задок и пустив хвост промеж ног, юркнул в кутух.

Бил Старшой больно, но грамотно — толстым прутом по

окорочкам. Ляжки горели. Я посмотрел на Тагана. Тот очень тихо сидел, высунув нос из будки и почти слившись и с ней, и с местностью, а когда Старшой, словно нам в укор, отпустил его, невозмутимой трусцой и будто по делу отбежал в лес. Таган умудрялся сохранять невозмутимость в любых обстоятельствах и даже в случае наказания умел выражать своим видом полную правоту и ещё и выставлять хозяина в несдержанном и дёрганом виде.

Теперешняя невозмутимость Тагана была абсолютно фальшивой, ибо означала, что мы негодяи, а он молодец и ни в жись не съел бы рыбник, хотя вся его заслуга заключалась лишь в том, что он с вечера был посажен на цепь, чтоб не удрал с утра шариться по тайге и нас не увёл. И я абсолютно уверен, что окажись он на берегу, то моментально отобрал бы у нас пирог, сожрал его, а виноватыми оказались бы мы, семимесячные щенки-первоосёнки. А он бы царственно сидел в кутухе, и нам бы его ставили в пример.

Капканы на нас

Хочу теперь остановиться на таком важнейшем, краеугольном явлении в собачьей жизни, как постановка капканов на собак. Именно так и никак иначе. Беду лучше предупредить. Лучше небольшая неприятность сразу, чем полная непоправимость потом.

Вечером Старшой нас отвязал и как-то особенно приветно-заманисто и демонстративно-наглядно стал вдруг ставить капкан под кедрой: сделал из колышков загородку, оставив узкую тропку для алчущего. Поставил капкашек, ещё один, ещё — а к дереву в глубь сооружения положил настолько великолепный кусок рябчиного задка, что я неуправляемо облизнулся. Старшой тайно и приговаривал, мол, видишь, нельзя-я-я сюда, и вроде как всё-таки: ну, попробуй-попробуй, ну? Потом то же самое сделал у ёлки в прошлогодней такой же печурке, и я увидел, как сглотнул Рыжик, глядя на вторую половинку задка. Таган не смотрел и был непроницаем.

Покормили нас как-то подозрительно неизобильно, хотя каша была хороша: овсянка с отличной варёной щукой, с разлившимся нутряным жиром и с хайрюзовыми головами. Думаю, Старшой сам бы её с удовольствием попробовал. Кстати, однажды он сварил себе и нам по одинаковой кастрюльке рыбы и запутался, где чьё. Кончилась крупа для заправки «собачьего»: где-то мы встряли весной со Старшим, на каком-то острове, ещё маленькие... С мыслями-воспоминаниями о том походе я и заснул. А проснулся ночью от обострившегося запаха рябчиной гузки. Меня буквально прошило радостным открытием: бывает,

мы себе напридумываем на ровном месте запретов, а они... Вот давай, Серый, рассудим: ведь нас наказали за то, что мы сбросили с бочки и открыли ящик. Он был упакованный, и это означало, что не про нашу честь. Согласен полностью. За то мы и получили. По первое число. Тут другая история: рябчик лежит на полу, как говорят охотники, и без упаковки, а значит, является предметом общего пользования, как бы выразился грамотный Рыжик. От этого открытия... прямо темнота расступилась. Надо тихо-тихо, чтоб не разбудить Рыжика... Почему-то в таких случаях не хочется, чтобы видели... Не потому, что затеваешь недоброе, а потому, что опасешься припозориться, если неправильно управишься. Только поэтому. В общем, я осторожно подошёл к печурке и наступил...

Я думал, что без конца упоминаемые мною в этой истории капканы — это такие же обожаемые Старшим железяки, как пилы, цепи, ключи, винты-болты и прочие в кавычках друзья человека, а значит, и наши... И тому, что капканы сейчас как-то слишком плоско растопырены, не придавал ни малейшего значения. Я наступил на самый краешек дужки, и капкан наклонился, лапа с него соскочила, и он подпрыгнул и хлопнул дужками так, что искра вылетела и запахло кремнём (знаю этот запах:

видел, как Старшой показывал сыну Никитке такую искру). Я отскочил, как ужаленный, не ожидав такого выпада — эффектного, смешного и бессильного одновременно: ясно, что капкан мне ничего не сделает — какого размера я и какой он?! Только пугнуть, напугать. И я замер, прислушиваясь, не разбудил ли Рыжика или, не ровён час, Тагана. Было тихо, и я, осторожно ступая, вернулся в свой кутух. Но... сна не было. Снова попытался вспомнить, как чуть не перепутали варёную щуку... Таган рассказывал такую же историю, только с мясом. Два одинаковых котла... Тоже не было крупы, где-то их льдом заперло... «Льдом-льдом...» — передразнил я сам себя. Какой лёд и какой сон, когда у тебя все мысли у этого капкана. Ты — собака! Не сдаваться. Трудное начало — признак удачного продолжения. Не впервой! Главное — не наступать на край капкана, чтоб он не скосбочился и не склацал на все Хорогочи.

Я снова подошёл к печурке и наступил точно на середину следующего капкана — на его ровную гладкую тарелочку. Острейшая боль обожгла лапу, но страшнее боли была неожиданность. Оглушительный визг вырвался из моей пасти. Я попытался сбросить капкан, попытался бежать, но держало крепко: капкан был привязан

к кольшкку. Попытался грызть — не ожидал, что металл такой мерзкий, холодный и кислый, хотя Старшой и выварил капкан в пихте... В отчаянии укусил лапу! Почему капкан не отпускает? Страшней всего непонятное! Ладно бы тянул и отпустил. У нас-то ведь удар-укус. По крайней мере, первый, предупреждающий. А этот держит. И чуть дёрнешься — такая боль, что в глазах мутнеет.

Из избушки не спеша вышел Старшой с налобным мертвенным фонариком. Несмотря на мои крики о помощи, которые я показательно усилил при его появлении, он не торопился и даже замешкался под навесом избушки. Зная пристрастие Старшого к механизмам, я решил, что он ищет какое-то приспособление, какой-нибудь очередной капканный ключ-освободитель на две-тысячи-пятьсот-четыре-на-семь-сот-семь-хромованадий. Но как рухнуло сердце, когда он подошёл и я увидел в его руке знакомый прут. Самое дикое, что Старшой присел на корточках рядом со мной и ещё несколько минут, которые показались вечностью, объяснял, что нельзя-я-я так делать, что, мол, вот — посиди, посиди, и что это лучше, чем пойти на варежки... Так и сказал. На варежки. Потом отстегал меня и сжал пружину крепкой кистью. Подобрал лапу, я пристыженно унёсся в кутух.

Заснуть не мог часа полтора, очень болела лапа. Наконец задремал, но тут же проснулся от визга. Визг длился минут пять, пока не подошёл Старшой и всё не повторилось. Я не выдержал и, опустив хвост, убежал в лес. Вернулся через часок, когда рассвело и Старшой разбирал сеть на вешалах... Накрапывал дождь. Собаки на редкость непаянтозлюбные, и пока я гулял, настроение поправилось. Если час назад поведение Старшого и осознанная тягучка с моим освобождением казались верхом предательства, то теперь я обрадованно завилял хвостом. «Что, капканщик, набегался?» — полугрозно спросил Старшой, и я уткнулся ему в колени. «Ну всё-всё... — говорил Старшой справедливым голосом. А потом с улыбкой... с облегчением: — Ничо, всё нормально будет... заживё-ё-ёт лапа... заживё-ё-ёт».

Вот тут-то я и проснулся по-настоящему от щелчка и легкого взвизга. В воздухе так же пахло кремнём от капкашка, который своротил и рассторожил Рыжик, смущённо скрывшийся в соседнем кутухе. Я уже не спал окончательно, но разговаривать не хотелось, и я притворился спящим. Подозреваю, что Рыжик делал то же самое. Сна не стало вовсе. Не потому, что мне хотелось услышать, как попадётся Рыжик. А просто не было. С огромным трудом я нагнал на себя полудрёму и вдруг услышал

шевеление, трусцу по утоптанной земле вокруг избушки и удаляющийся шорох по мху, прихваченному ночным морозцем. Чуть светало, и я увидел, как Рыжик осторожно, как-то особенно мелко рыся, приблизился к печурке и аккуратно поставил в неё лапу, потом, видимо, другую (ещё было плохо видно), а потом просунулся внутрь и высунулся обратно с чем-то в зубах, а потом оглянулся и, быстро отбежав, повалился на мох, и раздалось аккуратное чавканье.

Вскоре проснулся Старшой и, первым делом заглянув во вторую печурку, процедил грубое слово, подошёл к Рыжику, проговорил: «Л-л-ладно. Я те устрою. Суконец». Меня порадовало, что он правильно определил нарушителя и не подумал, что это я второй раз полез: доверие.

Вечером Старшой наставил ещё кучу капканов, присыпал пером и положил очень пахучей привады. Ночью раздался оглушительный перещёлк капканов, топот Старшого и звуки погони. И истошный визг Рыжика. Я от греха отбежал на бережок.

Клятва

Рыжик так и не попался. Тогда Старшой взъярился, схватил Рыжего в охашку, притащил к печурке, ткнул лапой в капкан и оставил сидеть орущим. Я по обыкновению удалился на бережок.

Потом мы довольно быстро развезли груз по береговым избушкам и вернулись на базу — лили дожди. Ни зверя, ни птицы мы не видели. Единственное стоящее и поучительное происшествие называлось «банки с повидлом». Точнее, «разбитые банки с повидлом». Размок картонный ящик, и Старшой при разгрузке разбил несколько стеклянных банок. Как сейчас помню — две с повидлом: яблочным и сливовым. Одна с томатной пастой. И одна с кабачковой икрой. Икра казалась беззащитно-бледной в осеннем стальном свете... А осколки с зеленоватыми гранями — особенно жестокими и досадными...

Мы с Рыжиком стояли рядом, катастрофически не зная, что делать с этим нелепым месивом. Таган сказал очень уверенно:

— Да спокойно можно ись. Ничо не будет. Вообще не обрежешься. Смотрите: мастер-класс. Короткий ход языка. Вот так вот. И вся недолга. Хорошее повидло, кстати. Вот так вот... Р-р-рээз, р-р-рээз...

— Кхе-кхе... Дядя Таган... Вы это... Не увле... — пролепетал Рыжик, — разрешите отработать приём?

— А? — с недоумением прервался Таган. — Ну, давайте...

Оказалось, можно, абсолютно не рискуя поранить язык, съесть всё повидло, просто очень аккуратно облизав каждый осколочек. И пасту тоже. Да. И икру.

Хорошо, когда с юности везёт с наставником.

Настала ясная погода, и в первый же утренник Старшой повёз нас за птицей. Глухарь по осени вылетает на бережок добрать мелких камешков. В его желудке они перетирают кедровую хвою.

Раз уж зашло про желудки: до чего красиво устроено всё живое!

Люблю смотреть, как Старшой разделявает глухаря...

Прошу запомнить эту фразу! Она покажет, насколько причудливо преломляется слово собачье по отношению к человеческому. Так вот, люблю смотреть, как он работает: руки двигаются быстро и необыкновенно точно, и кажется, всё — и печёнка, и сердце, и кишочки — само разлетается по кучкам. А посуда — чашки, тазы, вроде такое женское, кухонное, а, попадая в рабочие руки, будто мужает. Старшой топориком на чурке отрубает крылья, и мягкое пуховое перо остаётся на изрубленной иссечённой плоскости, вмятым, влипшим в тонкую расселинку от лезвия. Вот по перу разрезает крепкую грудь, раздвигает пупырчатую шкуру, и лилово открываются две могучие мышцы-пластины в жёлтой обкладке жира. Вот в несколько движений — шкура с пером снята, и как ложкой вычерпнут пятернёй плотно уложенный, фиолетовый ком кишочков... И вот Старшой берёт и разрезает

тугой, тёмно-красный желудок — жгутно-утянутый мясной узел с перевязью белой жилы, разрежет его по самой жильной скрутке, и нож, углубясь, нет-нет да и чиркнет сухо по камешкам. Камешки — белый прозрачный кварц, мельничьи, как рисинки, овальненькие с вмятинками, точечками. Лежат в кедровой хвое, чудно настриженной глухаринным клювом. Стенки желудка ребристые, в мелкую насечку (вынужден применить сравнение): как кошачье небо... И всё это круговое небо — лилово-малиновое от ягодного сока и будто бархатное. Так что... влажный полупрозрачный кварц. Малиновый бархат. Зелень хвои...

«А ну нельзя смотреть! Давай чеши отсюда. Кому говорю! Но!» — это нас, собак, гонят с кухни, от разделочных столов и прочих важнейших мест с роковой какой-то силой... Голодные глаза никому не нравятся. «Подбери слюни!» — лучшая награда за такие наблюдения.

На утренники собак и берут, и не берут. Не берут, чтоб не орали из лодки на всю реку на глухарей. Правда, привязанные у избушки и оставленные, они ещё пуще орут, и тишайшим утром изводит охотника хоровой отчаянный лай, слитый эхом в одну запевную ноту. В лодке ли, у избушки — собак привязывают часто. Цепочек не напасёшься, поэтому привязка — обычная капроновая верёвка с петлёй. Петлю

натягивают на наши морды так, что те становятся особенно клиновидными, кулькообразными, а глаза — раскосыми, чёрные же углы рта оттягиваются необыкновенно тонко и глупо. Уши прижимаются, и получается комично китайское, лисье выражение, у Рыжика особенно смешное: у него крепкие бакенбарды, стоящие торчком, — а без них голова совсем узкая и маленькая.

Привязки так и лежат в лодке и у будок-собачниц, или, по-нашему, кутухов. Я специально остановился на привязках, потому что к ним привязано, простите за каламбур, одно неотрывное от собачьей жизни понятие — отъедание. Но не в кормовом плане — не будьте наивными: это нам не грозит.

Итак, стекляннейшее утро после наизвёзднейшей ночи. Иней по рыжим листвягам, по берегам-причалам из сыпучего тёмно-розового камня. Потом, когда выйдет солнце, — седина оплавится. Листвяги оплачатся, и красные причалы станут малиново-мокрыми.

Но вот Старшой позвал, и мы, сшибая друг друга и Старшого, снарядами впрыгнули в лодку, да так радостно, что я даже выпрыгнул обратно на берег и снова запрыгнул в лодку, за что был обруган и получил с берега пинка. Пинок был бесполезный ввиду моей скорости, так что ногу Старшой выбросил вхолостую и еле удержал равновесие.

Всё равно как заряжающий пнул бы снаряд. Камни были заледенелые, и Старшой чуть не упал, как-то неудачно извернулся, и у него вступило в спину. За что я был обруган дополнительно. Снаряд — это огромная пуля, для справки. Матчасть знам...

Таган решил и здесь показать мастер-класс, успев пробежаться по берегу и вернуться секунда в секунду с нашим отплытием. Выпрыгнул он виртуознейше — движение не описать, но всё в нём — мощь и грация, мягкий тугой топот, изгиб тела, поджатие задних лап в момент пролетания над лодочным бортом.

Нас прицепили кульково на верёвки, и мы двинулись. Прежде на носу царил Таган, а теперь туда определили меня. Чтобы лучше видеть, слышать и обонять, я старался залезть подальше-повыше, пытаюсь лапами удержаться на наклонном бруске носовила*, синем от изморози и скользком. Привставал, и дрожали поджилки на задних лапах, а мне всё казалось, что надо ещё выше вдвинуться-ввинтиться в осенний воздух. Старшой сбавлял газ и сдавленно, чтоб не шуметь, рычал: «Ты чо там мостисся? Чо мостисся?!» И грозил шестом, но дотянуться не мог. Я пуце

вытягивался и перебирал дрожащими лапами по носовилу, и чем больше перебирал, тем выше возносился над упругой рекой. Старшой сделал резкое движение румпелем, лодка рысканула, лапы, уже протопившие пятно на дереве, соскользнули, и я полетел в воду. Вместо того чтобы остановиться и вытащить меня, Старшой продолжал невозмутимо волочь меня вверх по шивёрке. Я бултыхался, хрипел, и когда казалось: всё — задушил, он остановился и вытащил меня — жалко похудевшего, трясущегося. Облепленного мокрой шерстью, холодящей, липнущей, тяжелой... «Ну чо? Понял, как на носу сидеть!» А я чо понял? Мне б отряхнуться! И вот — круговой фонтан искрящейся пыли во все стороны! И мокрый Старшой машет руками: «Ты, дождевальное устройство, я те чо — грядка?» А смысл науки таков: привычка моститься на носу может стоять собаке жизни — в серьёзном пороге её уже не выудить: хозяин не бросит румпель. А болтанка такая, что сорвёшься в два счёта.

Поворот открыл первозданнейшую длинную гору с отвесными столбами-перьями и щёткой редколесья поверху. Всходило солнце и налило таким густым и ярким светом посеребрённые лиственницы, что и в душе всё зазолотилось, а ещё говорят, у собак чёрно-белое зреньё! Рыжик засиял вовсе

* Носовило — так сибирские лодочные мастера называют форштевень. Шпангоуты именуются упругами, а центральная донная доска — донницей. Сказолюбивый пёс сидел на плоскости носовила, обращённой внутрь лодки

медно, и вдруг я увидел, как он... Будто шутя. Будто между делом чавкая, жамкая, кусая... Комично пыжа голову вниз... Будто пытаюсь укунить себя за шею и смешно разевая рот, мусолит верёвку-привязку. И уже почти переел её. В эту же секунду раздался окрик Старшого, совмещённый с ударом шеста по Рыжиковой спине. Для справки: шест — универсальный инструмент управления судами и собаками.

Несмотря на алмазнейший утренник, никаких событий, кроме моего купания и отъедания Рыжика, не произошло. Видно, утренник был чересчур образцовым, и это смутило глухариное руководство. Возможно, показательный блеск выглядел слишком внешним, искусственным и направленным на внешний эффект. А может, птицу смутил небольшой ветерок. Старшой не унывал и, пойдя назад самосплавом, кидал спиннинг. Рыжик очень смешно наклонял голову и крутил ею, глядя на цветные камни, проносящиеся под водой, и насмешил Старшого, взлаяв на ленка, который неожиданно высоко выпрыгнул, когда его тащили.

Окончательно пригрело. Река вдруг оглубела и расширилась перед скальным сужением. Старшой достал из рюкзака термос, копчёного сига в газете. Мы оживились.

— Чо занюхнули?

Таган отвернулся и еле заметно слотнул.

Рыжик тоже отвернулся, но мгновенно голова его возвратилась, как на резинке.

— Слюни подбери! — рыкнул Старшой и, увидев большой взмыр под берегом, схватил спиннинг и начал бесконечное метание блесны, тупее чего может быть только высмотр сетей.

Мы совсем разомлели на солнце, и Таган даже несколько раз ловил клонящуюся свою голову, а потом положил её на лавку и замер, прикрыв глаза. Только пошевеливались в разные стороны уши и ходили ходунном резные клапанки на мокрому чёрному носу. Несильный порыв ветра сдул с лавки газету, и она упала под нос Рыжику. Рыжик её понюхал и вдруг, замерев над ней, задекламовал:

— Хм... «Во-ло... кон-ный интернет...»

— На волах, что ль? — проворчал, не открывая глаз, Таган. Это было хоть какое-то развлечение.

— На конях, — в тон ему бросил и я, очень уж хотелось мне заслужить его уважение.

— «УЗИ у «Зины» недорого».

— Чего? — сонно спросил Таган.

— О! Вот это интересно! — взбодрился Рыжик. — Слушайте. «Комплект обуви для собак. Четыре ботинка. Предназначен

для всех сезонов и любых поверхностей. Используются технологии, и-ден-тичные производству высококачественной трековой спортивной обуви для человека. Незаменимы для ездовых и тянущих пород собак, так как имеют манжеты с застёжкой «элькро», надёжно фиксирующие обувь на лапах. Подошвы из известных патентованных материалов «вибрам» и «грибтрекс»...»

— Из грибов, что ль, делают?
— сострил я.

— Да лан тут колхоз ломать. Наверняка хорошая штука. Мне Николь рассказывала. Короче! «Не проскакивают и надёжно защищают от наста, льда, веток и острых камней. Делают процесс переобувания комфортным. Конические манжеты надёжно держат обувь на лапе».

— Швами ещё хуже натрёшь!
— пробурчал я.

— «...Незаменимы, когда есть породный боковой коготь».

— Прибылой палец, что ль? — Таган презрительно фыркнул.

— Наверно.

— Дак его наоборот удаляют. А то лапу порвёшь лоскутом... И — мяу. Совсем охренели... Нормальное почитай чо-нибудь.

— Между прочим, в Голландии... коготок у собаки не дадут без её согласия состричь! Кх-кхе... Так вот... Они, ну, ботинки эти, также пригодятся, — мне казалось, что Рыжик даже поддразнивает Тагана и что он зря это делает, — они «также пригодятся

для повышения мобильности... пожилых собак (Рыжик быстро глянул на Тагана) и собак с проблемными лапами, — и прочитал с особенным выражением: — Яркая со светоотражающими вставками обувь делает вашу собаку нарядной и заметной в любое время суток».

— На хрена заметной?! — не поверил я.

— «Охлаждающий инновационный жилет двойного действия помогает собаке сохранить оптимальную температуру тела при любой температуре окружающей среды... и организует теплообмен с телом собаки... Достаточно смочить жилет водой, отжать и одеть на собаку...»

— «Надеть» вообще-то по-русски, — сказал я.

— Задницу им бы отжать! — поддержал Таган.

— «Рюкзак для собак «Полисад-пак» с карманами для двух бутылок воды...»

— Прекрати! — взвизгнул я.

— Да вы чо!? — буркнул Старшой.

— «Каждой собаке, — заходился от восторга Рыжик, — после прогулки-тренировки-охоты и прочей активной деятельности нужен отдых и местечко, где никто ей не мешает предаваться сладким снам и воспоминаниям, где можно удобно вытянуть уставшие лапы или, наоборот, уютно свернуться клубком. Предлагаем потрясающий лежак для ваших питомцев!» А чо

— нормально! «Туалет для питомцев... — вскричал Рыжик, — представляет собой эстетическое приспособление... с выдвигаемым ящиком и лопаткой в комплекте...»

— Их бы самих этой лопаткой... по комплекту... — ещё ниже проворчал Таган и закрыл глаза.

— «Легко переносится благодаря улучшенной декоративной ручке. Теперь туалет не надо прятать в ванной или в другом укромном уголке. Его можно размещать в любом месте, и он везде будет вызывать восхищение своим удобством, красотой и функциональностью». А уж как котя будет рад! У него будет свой укромный уголок, скрытый от посторонних взглядов...

— Ай-яй-яяяяй! — закричал Рыжик, потому что Таган, рывкнув: «Ты чо?», молниеносно хватанул Рыжика за окорок и улёгся, возмущённо ворча:

— Я т-те устрою лежак...

Рыжик, пряча глаза, скулил.

— Одурел, старый? — рывкнул Старшой на Тагана, и тот втянул голову, зажмурил и плоско вжал глаза. Старшой погладил Рыжика, который беспомощно перевернулся на спину и стал лизать Старшому руку. Видна была выступающая грудина и два завитка шерсти на уровне передних лап — на границе рыжего и бежевого. И передние лапы — сложенные и болтающиеся. А Старшой гово-

рил образцово-воспитательным низким голосом:

— Рыжик. Ну Ры-ыжик. Ну ла-а-адно тебе, ла-а-адно.

Приближались пороги, и Старшой спустил их на моторе, а ближе к избушке стащил с наших шей петли. Если туда петля надевалась «по течению», смешно уменьшая, удлинняя и косоглазя голову, то теперь, когда петлю протаскивали против шерсти, — мешали уши, и шкура собиралась складками и комично давила на лоб, на глаза. Рыжик топырился и только натягивал петлю, затрудняя освобождение.

При подъезде к берегу мы отработали «выпрыг с носа» — важный элемент пилотирования, вызывающий у начинающих собак массу нареканий. Река наша горная, мелкая и особенно каменистая у берега. Старшому надо быстро причалить в точное место, заглушить и поднять мотор и, перебравшись на нос, выпрыгнув, удержать с берега лодку. Меж двух камней и целил Старшой. Мы заходились дрожью на носу и, засидевшиеся, мечтающие пронестись по берегу, изготовились к прыжку. Когда уже было рядом — сиганули, оттолкнувшись от лодки и сломав ей курс так, что она наехала на камень, а на нас обрушился целый камнепад эпитетов.

Ночью я снова влетел в капкан, а Рыжик снова ухитрился безнаказанно сожрать приваду.

Он запустил* два капкана, сдвинув их вбок лапой и не то стряся, не то как-то ещё рассторожив. «Нда... — сказал Старшой с задумчивым холодком. — А я смотрю, ты умный... Не знаю...»

Следующее утро выдалось седым, хмурым с промозглинкой и со сквозной какой-то серебряностью... В первом же повороте на длинном галечнике гнутыми головешками сидели глухари, штук семь. Они были настолько замершими и не похожими на живых существ, что когда, чёрные, медленно покачиваясь и вертикально задрав головы, пошли к траве, то их зачаровывающая медлительность буквально разорвала наши глотки восторженно-возмущённым лаем. Пахло от них невозможно — почему-то печёнкой, переваренной хвоей и какой-то кислинкой! Старшой выпустил нас, и мы, подняв брызги, рванули на галечник. Глухари взлетели и, рассевшись на прибрежные листовяги, замерли чёрными почками.

...Боюсь, не описать то чувство дела, которое меня объяло с головой, когда я обляял первого в жизни глухаря, и которое объяснило моё предназначение, одарив проблеском одного откровения, речь о котором впереди...

При всём азарте я шкурой ощущал, как внимательно смотрит Старшой на мои движения, как

присутствует, оценивает, осознаёт происходящее, подправляет негромким словом и что-то сам себе помечает. Я понял, что мы — очень важное звено, связывающее Старшого и его семью с окружающей нас огромной тайгой. Что вместе мы представляем необъятный организм, многократно превышающий в размерах Старшого и состоящий со Старшим в странных и старинных отношениях. Будто шевельнулись какие-то ваги, жердины мощнейшие между глухарём и камешком, Старшим и мной, мной и глухарём. Когда я думаю об этих вагах, сизых гудящих сушинах, меня аж мутить начинает, и что-то во мне защитно сбивается, ограждая от лишнего знания, от которого я замру, окаменею, иль вовсе на куски разлетится моя бедная собачья голова.

О существовании этих длинных и гулких сил, простирающихся во все стороны тайги, реки и неба, говорил особенный, подправляющий и одобряющий вид Старшого. Так же он шёл с неводом, так же оглядывал возведённый сруб, так же ехал зимой в город, и стрела зимника была в тысячу раз больше его тарахтящей машинёшки.

Этот новый образ Старшого мы ощущали, и когда он выпустил нас из лодки, и когда забрёл в лес и шёл к нам, и мы слышали, как осторожно ступает он по траве, по мёрзлому,

* Запустить — закрыть, захлопнуть. Более широко — привести в нерабочее состояние, как корова в запуске закрывает подачу молока

кровельно-грохочущему мху, в который нога человека проваливается, оставляя печатные дырки с вертикальными рваными стенками. И когда он подходил, прячась за стволы, отстаиваясь за ёлкой, и выглядывал, шатаясь-двигаясь телом, а потом стрелял и подбегал, чтобы в пылу мы не истрепали, не раздербанили глухаря... и разговаривал с нами совсем другим голосом — словно что-то невидимо-новое нарождалось, строилось, струилось, и мы были в центре надежды.

Но чем яснее становилось, что именно Старшой этим невидимым управляет, тем незначительней, незаметней он помогал происходящему и будто только присутствовал, тем сильнее оно само работало и простиралось в сложнейшие дали точно так же, как уходил-простирался в небо мачтовый листвяк с чёрным силуэтом на выгнутой ветви.

Потом ещё были глухари. А потом Старшой решил, как обычно, «разок шваркнуть пиннинг», а потом помаленьку с этим «пиннингом» ушёл до мыска... А мы бесились, рыча, и носились по нежно-жёлтой сухой траве, очень прямой и вертикально-острой, и пропахли ею невозможно, а потом помчались вверх в хребёт, откуда кисло-печёночно нанесло птицей, и взмыли на высоченную гору с гранёными столбами. А потом выбрались на покрытую ягелем бровку, поросшую

крепкими кедриками и остроко-нечными пихточками, среди которых особенно чудно гляделись сухие — пепельно-серые и будто костяные. Мы замерли, затаив дыхание, хотя это было и нелегко: бока ходили ходуном, и языки жарко свисали из разинутых пастей.

Тёмно-синие горбатые сопки, о существовании которых мы и не подозревали, с тучево́й грозностью восстали со всех сторон, а внизу с какой-то поразительной, счастливой наглядностью открылся поворот с лодкой, широченный серп галечника и крохотная фигура Старшого.

Поразила река, плавно ползущая под уклон сизо-серебряной шкурой, в водоворотах и шершаво-свинцовых пятнах ряби. Её тягучая плоскость меняла угол в каждой точке и, устремляясь меж каменных мысов к порогу, неумолимо и мощно ускорялась, растягивалась пятнами и гравюрно темнела складками от каждого камня. Далеко внизу пролетел глухарь, казавшийся сверху особенно сизым. Летел он, очень часто и книзу маша крыльями, мощно и коротко вспархивая, а потом мгновенно замирая в парении. Застыл — и новая череда взмахов, и долгое парение на острых, плугообразно выгнутых крыльях. Даль была такая совершенная и настолько... крупно-насыщенная, что дух захватило от пережитого, и мы долго

стояли рядом... в одной волне, в одной... счастливой поре... ощущая с небывалой силой, что мы братья. И что всё, открытое нам, — от дальней горы до фигурки Старшого — тоже наше, и мы, объятые одним делом, нужны и себе, и дали, и, главное, Старшому. Переполненные, мы заговорили наперебой обрывками мыслей, чувств:

— Вот это вид!

— Здесь даже ветер по-другому дует!

— И пахнет... — сказал Рыжик. — Ой, как хорошо!

И глянул на меня в упор:

— Ты вообще понял?

— Что понял? — насторожился я.

— Что он без нас не может...

— Старшой-то?

— А кто же ещё-то? Се-рый...

— раздельно сказал Рыжик. — Серый, ты понимаешь? Мне раньше казалось, что мы без него пропадём, а ведь, оказывается, и ему без нас... мяу.

— Да? Тебе тоже так показалось, Рыжий? Ведь вот как бывает! Ещё недавно кто мы были? Щенчишки... А теперь у нас своё дело. Давай, брат, ты знаешь. Давай вместе как залаем за это!

— Давай!

И мы дали.

— Да лан, не ори! — сказал я, отдышавшись, кедровке, усевшейся на сушину.

— Да ей завидно!

— Да, Рыж, действительно, надо сейчас что-то очень важное

сказать друг другу... И вот этому простору... Смотри, Таган, по-моему, норку гоняет...

— Да где?

— Да вон, в курье* за лодкой!

— Точно! Без нас, главное!

— От однодворец! Хе-хе!

— Ну. Да, кэшно, это важно, когда у тебя есть любимое дело, понимаешь... У нас есть всё... И всё так начинается...

— Мы собаки! И нам надо сказать...

— ...своё слово...

— Сказать себе и друг другу, что будем собаками до конца... Давай троекратно залаем за наше собачье дело, нашу охоту...

— Промысел!

— Промысел! Разницу чуешь?

— А как же!

— За нашу тайгу — что будем беречь её, охранять...

— Ав-ав-ав!

— В такой денёк, да в таком месте — чо не лаять!

— Ав-ав-ав!

— Ав-ав-ав-ав!

— Брат! Перед этой тайгой... Давай пообещаем выполнять наше собачье дело, как выполняли наши отцы и деды... так сказать, прасобаки... Быть верными и бескорыстными.

— Да! — с жаром согласился Рыжик. — И не забывать! Что мы не просто собаки! А то щас много развелось... В городах есть собаководные, которые живут в благоустроенных, понимаешь,

* Курья — каменистый залив

Промысел начался

квартирах, едят магазинную курятину, которую делают из кур, которых кто-то за них облаивает! Которых за их хозяев кто-то добывает... А мы не прячемся за спины, понимаешь, мы на переднем краю... Помнишь, Старшой говорил, что у балконных лаек лапа ластой! А у нас комком.

— Да чо ты всё время себя сравниваешь?! Сам будь кем надо! Как Таган! Как, помнишь...

— Помню... Дай скажу!

— Нет, дай я!

— Ну говори!

— Нет, ты говори!

— А чо я хотел?

— Не знаю! Забыл! Ха-ха-ха!

— Давай просто полаем!

— Давай! Ав-ав-ав!

— Да! Так вот пройдёт год, и ещё много будет ошибок, а они будут! Обязательно будут... И я подумал, когда-то Таган так же стоял на этом просторе...

— И я подумал!

— Мы оба подумали! И мы сейчас стоим здесь... Я подумал! Пройдёт год, и на следующую осень мы будем так же здесь стоять... И я хочу, чтобы нам было не стыдно за то...

— ...что будет в этом году!

— Да! В таком неизвестном...

— ...что сердце аж сжимается от неизвестности, до того всё прекрасно!

— И мы должны всегда помнить, что это наша даль...

— ...и что у нас лапы комком!

— крикнул Рыжик и залился на всю округу.

Потом всё заварилось плотно и ярко, сливаясь в алмазно-сине-рыжее месиво льда, воды и закатов, и не помню, сколь раз надевали на кулёк Рыжиковой морды петлю, сколь раз сдирали обратно против шерсти и сколь раз сбивали мы с курса лодку во время швартовки. Потом добыли оленя, в котором нам понравилось всё, кроме того, что он не стоит под собаками, и про которого Таган сказал: «Нич-чо так бычок. Но сохат есть сохат!» А потом вернулись уже по снегу, Старшой вытащил лодку, и промысел начался. Из приизбушечных событий ярких запомнились два.

Утром в сумерках с той стороны прилетел глухарь и с грохотом взгромоздился на ёлку над избушкой. Мы взлаяли, а Старшой в трусах и калошах вышел и добыл глухаря из «тозовки». Нас дико насмешило всё: и дурак-глухарь, сослепу вломившийся в наше расположение, и Старшой в трусах и с «тозовкой». Хохотали, пока Таган не рывкнул:

— Э, кони, хорош ржать! Вы бы с евонное отпахали в тайге, а потом бы ха-ха ловили.

Таган разговаривал рублено и резко. И слова будто обранивал. Не в смысле браниться, а в смысле ронять. При таких собеседниках что ни скажи, а дураком будешь. Допустим, Таган обронит:

— На востоке соболь пошёл.

— Правда? — пискнем мы.

— А чо, не правда?.. — буркнет Таган возмущённо-презрительно, да так, что ты виноват по уши, раз не веришь и переспрашиваешь. И басовито с рычанием добавит: — Раньше в это время здесь по ручью Аян, покойничек, по пять соболей в день загонял... Правда, я грю, тогда и собаки были... Аян рассказывал: дядя Вова, Старшовский отец, одних токо щенков до пяти голов на промысел брал. А оставлял одного!

И, видя наши полные смятения глаза, говорил с напором:

— Но зато это собаки были... Хрен ли лаять...

Досадливо-разочарованное «А щас...» уже и не требовалось. Хотелось слиться с подстилкой.

Когда Таган заговаривал про деда Вову, у него немедленно появлялось выражение «одного токо»: дед «одного токо омоля по три ванны на замёт брал», «одной токо кислицы по сорок ведер сдавал» или «одних токо веников по семьдесят дружек заготавливал». Дружка, кто не знает, — это пара веников, связанных верёвочкой.

Таган за словом в карман не лез. Если кто-то говорил: «Да брось ты», он рявкал: «Как брось, так и подними», а если не соглашались, мол, «Ну конее-е-ешно...», то передразнивал: «Конюшня».

Старшого он уважал, у них были свои долгие отношения, и то, как они общались — полунамеками, в касанье, — отдельного слова стоит. Сидели у костра возле избушки, Старшой помещивал собачье в тазу и что-то говорил негромкое лежащему у ног Тагану, а тот чуть пошевеливал хвостом и чуть прижимал уши. А Старшой клал руку на голову Тагану и поглаживал-почёсывал выпуклый шов на собачьем лбу. Ребро жёсткости, как выразился как-то Рыжик. Мы умирали от зависти — привязанный Рыжик аж зевал со скулиной. Есть такое собачье проскуливание в зевке. Открыть рот, будто для зевки, а дальше зевок растянется то-о-о-онким, очень высоким скулёжем, и, выходит, скулинка заменяет зевок и вроде должна уже в лай перейти. Ан нет — в зевок и возвращается. Это происходит, когда мы нервничаем. Такое «у-ааааа...».

Закругляя до поры тему Старшово-Таганской дружбы, скажу, что понимали они друг друга с полуслова, и на развилке лыжни Таган всегда знал, куда пойдёт Старшой, хотя для порядка и оборачивался. А как Старшой смотрел на Тагана в работе! Когда, примчавшись с огромной скоростью, тот с налёту совал нос в соболиные следы, взрезая снег, или свирепо вгрызался в подножие кедрины, так что летели корни, пахнувшие грибами

и прелью. Этим любовался не только Старшой. Рыжик же просто сглатывал.

Как я говорил, первым со-бытием был глухарь и выход Старшого в трусах, а ко второму плавно перехожу через кутух.

Старшой сделал нам новый двухквартирный кутух — длинную будку из бревёшек с двумя входами и перегородкой — живи не хочу. У каждого своя площадь, но надо знать собак: мы тут же влезли вместе в правый отсек, сначала я, потом Рыжик. А потом в левый — сначала Рыжик, потом я. Рычали, толкались и так и жили то вдвоём, то порознь. Попеременке.

Иногда Рыжик ложился рядом с дверью избушки под навесом, за что Старшой его звал «теплопопым», считая, что Рыжика привлекает тепло из-под двери. Хотя, возможно, ему хотелось оказаться первым, когда Старшой вынесет объединённую грудину глухаря или рыбы кости. Рыжик належал себе даже преддверную круглую вмятину в грунте, где, свернувшись клубком, то прислушивался к манёврам Старшого в зимовье, то дремал, а то вдруг начинал, напряжённо вздев морду и натянув углы рта, чесаться и стучать лапой по бревну или косяку. На что Старшой отвечал неизменным: «Кто там? Наши все дома». А когда приоткрывал дверь выпустить жар, то Рыжик вставал и вдвигал в избушку сначала морду, потом

шею, а потом и сам вдвигался и стоял, виляя хвостом, долбя им по косяку, на что Старшой говорил: «Избушку срубил».

Толкаться у двери зимовья под навесом мы оба любили, и однажды, играя, весело заедаюсь и толкаясь, своротили пустой ящик. По нему Рыжик залез на лабазок и взял кусок масла с дощечки, на которой лежал ещё и примёрзший малосольный сиг. Рыжик-то схватил масло, но дощечка упала и грохотнула. Старшой выскочил и всё понял, хотя Рыжика и след простыл. Старшой положил кусок привады на то же место и пододвинул поудобней ящик. На следующий вечер Рыжик лежал-лежал, а потом, внезапно и ни слова не говоря, сорвался и мелкой самоуглублённой трусцой подтрусил к ящику, встал на него задними лапами и, оперевшись передними о полку лабаза, аккуратно взял приваду. К ней Старшой привязал крышку от бидона, и она грохнула. Рыжик отпрыгнул и, слыша, как Старшой нашаривает калоши, соскочив с нар, удрал подальше.

Третье событие произошло не у избушки, а в тайге. Был у нас длинный и нелёгкий день, ходили по путику-тупику, возвращаясь своей лыжнёй. Едва Старшой развернулся в сторону избушки, Рыжик учесал домой. В стороне от лыжни Таган облаял глухаря, и мы задержались, а возвращаясь, не доходя до из-

бушки, обнаружили Рыжика, попавшего в капкан. Как сейчас помню: второй номер, Старшой ставил их на лису, росوماху и песка, когда тот подходил с тундры. «Оголодал! — прорычал Старшой. — Полтора километра не дотерпел! Заблюдник...» Когда Старшой попытался освободить брата, тот стал истерически кусаться, а Старшой снял сукодную куртку и, накинув ему на морду, освободил лапу.

Это из неприятного. А, конечно, самым главным и долгожданым событием стали наши первые соболя.

Самого первого облаял Таган. Когда мы с братом подбежали, всё вокруг кедров было истоптано, и захода соболя я не понял, как и картины вообще. Соболишка попался тайкий (люблю это слово) и никаких признаков жизни не подавал. Движения воздуха были таковы, что запаха зверька я не ощущал. У меня было два выхода: ничего не поняв, залаять вслед за Рыжиком заодно с Таганом либо не торопиться и разобраться самому. К тому же у меня обострённое чувство чужих заслуг, и мне не хотелось примазывать. Хотя, как выяснилось, одно дело — принципы, другое — чувства. Подошёл Старшой и, чтобы нас затравить, выстрелил рядом с сободем по ветке.

Зрение у собак на третьем месте после нюха и слуха. Но когда я увидел качнувшиеся ветви и

перескочившее по ним тёмно-бурое существо мягкого, густого и немисливо породистого облика и таких великолепно-спокойных, царских и внимательно-гибких движений, то рот мне распёрло комком взрывного лая. Будто там лопнуло что-то... Будто раскрылась дождавшаяся часа капканная пружина. Понимаю неуместность сравнения и использую только для того, чтобы показать разевающую силу этого лая. Его распирающую неизбежность. Дальше к хоровому лаю добавился ещё один звук. Сначала мне показалось, что это придыхание Тагана, межлаевая одышка, или что у него в гортани застряла гнилая мягкая щепка, но потом оказалось, что, несмотря на низовое положение Тагана, звук идёт сверху, будто у самой кедров засорилось смолистое горло. И когда я понял, что это ворчит соболь... я потерял голову. И если первый раз мне взорвало пасть пружиной от «нолёвки», то тут была неистовая «тройка». Добавьте головку с круглыми светлыми ушами, пролившийся, наконец, режущий запах, и это немислимое шевеление в тяжких и крупных пучках кедровой хвои. И протяжно-пружинный стон отрикошетившей пульки. И отстреленная веточка с тремя кистями хвои, к которой мы с Рыжиком кинулись, как дураки. И наше визгливо-жалостное влаивание на перепрыгивания соболя, и

Рыжик, кинувшийся лапами на ствол и откусивший кусок коры.

Там вверху нечто огромно-таинственное и неистовое царило; некое диковинное существо размером с кедру, шевелящее хвоей, предыханно ворчащее, замирающее, воющее пулькой, обманно роняющее ветви и настолько вездесущее, что вылетевшая из-под зубов Рыжика кора тоже казалась частью его безумия. И оно ходило ходуном, и когда Старшой особенно неожиданно выстрелил — собралось и выдало нам вытяжку, кристалл, образец, смоляную капь, сгусток тёмной молнии, и Старшой кинулся, чтобы мы с Рыжиком не порвали её пополам и не умерли от разряда. Потом долго и изумрудно умирали соболиные очи, светились диковинно на царском меху — сложнейше-коричневом с переходами, со сказочным переливом в палевость, с намёком на рыжину и затемнением по хребту. С головешечно-чёрными мохнатыми лапами и ярко-оранжевым горлом, поразительно созвучным с острым тревожащим запахом. Мы всё прыгали, пытались ухватить добычу, и Старшой давал нам легонько пожатать-лизнуть, крепко держа и оставляя меж сжатых кистей оконце соболиного тела — морды, уха. А мы, потрясённые, прихватив и потрепав добычу, фыркали и вновь заливались восторженным лаем.

На другой день счастье подвалило уже именно! Я наткнулся на соболя накоротке, и он влез на высокую и тонкую листвянку и сидел, изогнувшись и кругло сложившись. Его было отлично видно, на этот раз жёлто-рыжего, освещённого солнцем на фоне синего неба. Когда я всё лизал и пытался судорожно прихватить добытого соболя, Старшой, сдерживая мой пыл, говорил со мной особенно негромко и внимательно. В его «молодец-молодец» звучали настолько серьёзные ноты, что снова забрезжили связи-жердины, и снова замутило от ощущения прозрачной и ноющей ваги внутри меня...

Были ещё соболя, скрившиеся в корнях, которые мы разрывали чёрными от земли мордами, и зубы и розовые дёсны Рыжика в тёмных кусочках мусора; помню вытоптаный дотла снег и длинные, уходящие вдаль шнуры корней и как они вспарывали подстилку, когда Старшой их дёргал. Была лежачая дуплистая, покрытая мохом труба-кедрина, в которой загаился соболя. Таган стоял у выхода, взлаивая и крутя головой, и Старшой вырубал топором дырки, как в дудке, тыкал в них палкой, и мы видели в окнах диковинно-сказочный проползающий мех...

Однажды мы загнали соболя в огромную зеленоватую осину, гладкокожую, с буграми-напльвами вокруг сучков, уже сгнивших

и глядящих дуплами. Осина была необыкновенно литая и гулко дуплистая изнутри... Старшой прорубил в комле дыру, открывшуюся кромешно и близко, и запалил берёсту. Медленно и пахуче разгорелся огонь, и повалил дым сначала из одного дупла, потом из другого и третьего. Соболь вылез и сначала пополз вниз головой, распластавшись полностью, и, цекотя коготками, спускался рывками-перебежками, и свисал хвост, загнувшись на спину. Старшой добыл соболя, и когда уходили, я жарким ртом куснул снега и оглянулся: гудела тяга в осине, густой белый дым валил из многочисленных дупел в разные стороны и под разными углами, и коренатое дерево напоминало какой-то странный и старинный людской агрегат...

Рыжик

Когда узнаёшь, что состоявшийся, знающий дело пёс вдруг ещё и стихи пишет, неловко становится как-то неустойчиво. Есть образ, к которому ты приладился, с которым понятно и крепко... и вдруг вся собака... откатывается на слабую точку. Личность, привыкшая побеждать, вдруг сознательно становится беззащитной, уязвимой пред белым светом, ушлым на критику. Так и охота спросить — зачем?

Рыжик хоть и не был состоявшейся собакой, но двигался, и поэтому неловкость я испытал ужасную, узнав, что он ещё и пописывает. Вирши совершенно не шли Рыжему и выражали не его суть, а одну, скажем так, идейную ипостась, причём настолько примитивно, что если бы их прочёл некто, съевший собаку в поэзии и не знавший Рыжика, то был бы разочарован: образ лирической собаки не имел ничего общего с той собакой, каковой эта собака была в собачьей жизни.

Тем не менее, содержание этих... куплетов, а иначе их не назовёшь, помогает понять, что роковой тот поступок, на который мой брат столь безрассудно решился, не имел никакой материальной, или, скажем так, желудочной подоплёки. Надо полностью не понимать Рыжика, чтобы объяснять случившееся продуктовыми причинами, и я абсолютно уверен, что сама по себе привада, как продовольствие, не интересовала Рыжика вовсе, а руководила им лишь идея бунта против существующей картины взаимоотношений, скажем так, гражданина и власти, и его собственного в ней положения. Поэтому трактовать поступок Рыжика с продовольственных позиций, как это делал Таган, совершенно ошибочно, и, я бы сказал, недальновидно.

Чтобы доказать сугубо идейную подоплёку этого бунта, я

предлагаю обратиться к поэтическим изысканиям Рыжика, которые, не имея отношения к литературе, нужны лишь в доказательство моей версии произошедшего. И прошу не воспринимать моё критическое отношение к творчеству брата как повод выставиться более сноровистым в литературном творчестве: я начисто лишён подобных притязаний и выступаю как летописец.

В таёжной жизни бывает, что кто-то напоёт, просыпаясь, какую-нибудь глупость, и все повторяют её до самого заката. Поэтому так важно, чтобы день, осень, жизнь начинались с правильной строчки. Так вот, Рыжик частенько бубнил с утра глупейшее словочетание: «Этот Рыжик, в общем-то, рыжовый»... А я целый день его повторял и, чем сильнее ощущал его глупость, тем послушней долдонил.

Что он имел в виду? Какую такую «рыжовость»? А может, не рыжовость, а ржавость? Повторю, Рыжик был, что называется, с идейками и с критической жилкой. Грамотный, по-своему даже начитанный, он имел самостоятельное суждение по каждому почти случаю, да ещё и с пофыркиванием на общепринятое. Имею в виду пофыркивание в общечеловеческом смысле, а не в сугубо собачьем.

По моим наблюдениям, чем грамотней творческая собака рассуждает об искусстве и чем сильнее наращивает читательские ожидания, тем слабее её

произведения. Если уподобить душу художника котлу, в котором готовится духовная пища, то, без конца снимая крышку, ты лишь стравливаешь пар и роняешь давление... Это же относится и к строгости подачи — канон на то и канон, чтоб не отвлекаться на форму посуды и собраться на взваре.

И либо Рыжик слишком много рассуждал о законах творчества, либо ошибся с каноном, но всё его стихотворчество свелось к какой-то бесконечной поэме в духе тюремного фольклора с вечным плохим прокурором и несчастным арестантом. В качестве прокурора и мучителя выступал Старшой, купающийся в комфорте, у которого в избушках чуть ли не полированные стены и прочие излишества, и, конечно же, «кулинарное питание и от печки ровное тепло». Причём эти «полированные стены» будто свидетельствуют о некоем буржуазном вкусе, точнее, об отсутствии этого самого вкуса и тяге к внешнему лоску:

*У него в избушках много лака,
Там он развалился и храпит,
А за дверью бедная собака
В кутухе простуженно сопит.*

*У неё дырявая избёнка,
Колко смотрят звёзды из щелей,
Вместо двери тонкая картонка —
И лицо в укусах соболей.*

*Летом были с девушкой в походе,
Гнус в пути довольно сильно грыз,*

— Слыхал новости? «Собачка — деталь храпового механизма». Это, наверно, когда Старшой храпака дерёт в избушке, а мы на улице зубами стучим!

Придумал словечко «собы», казавшееся ему особо удачным, и оно, дурацкое, вошло и в мой обиход. Удивительно, как бывает. Один придумает что-то в пылу самопоиска, да тут же отгорит и десять раз предаст, а другой всё примет и потихоньку-полегоньку понесёт сквозь всю жизнь, наполняясь по сердце и дивясь как дару. Так и у меня вышло, когда я, глядя на округжающих и расспрашивая их о прошлом, осознал нашу собачью особость, те главные качества, на которых веками зиждилась негордая наша порода. Они просты, как всё исконное. Это три камня: верность, способность к бескорыстному служению и непамятозлобие.

В Рыжиковых же собах ничего, кроме того, что мы особенные, не было, и дальше деклараций и щенячьей игры в слова не пошло: Рыжик впал в свою даже ересь. Слово «особенность» у него означало количество собак у охотника. «Индекс особенноти промысловиков Балахчанского района к концу 19 века колебался в пределах двух-трёх особей на русского охотника и пяти-шести на енисейского ясачного остяка и тунгуса...» Особь, пособие, соблазн, собутыльник

— всё Рыжик трактовал и переизобретал. Подсобка — небольшая молодая собака. Соблюдение — облудение собак, то есть приобретение ими человеческих качеств. Подсобник — коврик. Вершиной были перлы вроде междуособицы, означавшей странство меж собачьих усов.

— А как же соболь? — спросил я.

— Ххе, — сказал Рыжик и стал тянуть время: — Ну как же, как же... э-э-э... пр-с-сь, — вдруг догадался брат и продолжил очень солидно: — Ну как же? Со. Боль. Собачья боль. Ну... вечная обида на несправедливость... Вроде как ты нашёл, догнал, обляял, а припёрся Старшой, добыл-подобрал, пинкаря наподдал и в свою котомку бросил. Это как в кино: оператор отснял — и до связи. А все хрящики режиссёру. От так от! Да...

И вдруг открыл:

— Ты понимаешь, мы операторы! Операторы скаковой... Меховой... Не! Во: нюховой погони. Операторы нюховой погони! Х-хе! Звучит? Хватит нам дедовским строем жить! Надо в лапу с эпохой! Собь наша держится за любовь к миру и любовь к самому себе! Даль — ни больше ни меньше!

— Какая даль?

— Владимир Даль, тундрятина!

Уже стояла середина ноября, всё глубел снег, и мы уже

не могли догнать соболя. Снег этот треножил и изводил, наводя на мысль, что самое интересное позади. Это не означало, что надо обязательно плестись за Старшим: по старой лыжне ещё можно было убежать вперёд, но шаг в сторону — и уже прыжки и язык на плече. День сжался, ночи подступали всё морознее, и мы лежали в кутухах, укрыв хвостами носы, так что на бровях к утру козырьком серебрел куржак — росомаший вид. Выбегая из кутуха, Рыжик то и дело поджимал ногу и заскуливал. Приходили поздно, не в силах догнать соболя, за которым брели, пока хватало сил. Таган такой ерундой не занимался, чётко знал и снег, и свои силы, и гонял только парные (свежие) следы на самом коротке и шагом. Мы же убегали и приходили в темноте, чаще так и не догнав соболя, а если догоняли, то лаяли часов до трёх-четырёх ночи, сокрушаясь, почему не скрипит на лыжах Старшой. Нам в голову не приходило, что он не в состоянии столько отмахать по тайге. Вскоре снег и вовсе оглубел. Самое обидное, что соболя это понимал, наглед и, бывало, прыгал с кедры и убегал по снегу, зная, что его не догнать. Работа всё больше сводилась к тупому бредению за Старшим и попыткам нескольких натужных прыжков в сторону и обратно.

Был ещё урок, который добавил раздражения Рыжему. Учил

он знанию одного из важных законов собачьей жизни. Я бы его назвал «законом притяжения избушек». Как-то раз мы уходили в хребтовую избушку на мальбый круг. Уход с зимовья целое дело, Старшой кучу всего убирал, проверял, выливал воду из вёдер, убирал лестницу от большого лабаза. На полдороге к Хаканачам Рыжик погнался след соболя, который вывел его в обратную сторону. След был старый, Рыжик бродил-бродил, потом выбежал на нашу дорогу и вместо того, чтобы догонять, вернулся на базу и сидел там три дня, пока мы не пришли. Притяжение избушки вернуло его с полпути и не пускало на наши розыски. Таган сказал, что это и его «столь раз ловило», и что меня «ишо не раз поймат».

Рыжик особенно переживал и страшно обиделся, что его «забыли». Снег подваливал. Брату всё сильнее хотелось действия, чего-то острого, интересного и, как натура нетерпеливая и впечатлительная, он маялся, и всё чаще проявлялась эта нервная скулинка в зевке. Раздражало всё: «Он перестанет валить-то (это про снег у него)? Честно говоря, остопуэбло. Таган ещё этот. Бе-бе-бе... Задутый в хлам. Сам от себя тащится».

Но больше всего доставалось Старшому:

— Меня, например, возмущают некоторые вещи. Как он всё время повторяет одни и те же

шуточки: «Избушку срубишь» или «Наши все дома». Я Тагана специально спрашивал — он говорит, тот уже много лет это прогоняет. Меня, например, просто раздражает, как он снегоход заведёт и стоит, стоит рядом... Особенно в мороз он эту тягучку тянет, дымина, давно ехать, а он всё стоит. Себя и нас травит. Или как торчит над душой, когда мы едим: «Ешь, ешь, крупу подбирай, одну рыбу и я могу».

Я пожимал плечами. Мне не приходило в голову раздражаться. Как есть, так и есть. Не то что я такой послушный, покорный. Нет. Просто так устроен. Себя хватает. Да и спокойней.

— Да ты какой-то равнодушный... — с горечью говорил Рыжик и пытался развеселиться зубоскальством. Читающий всё, от рваных упаковок и инструкций до философских трудов, придумал свой способ подшучивать над Старшим. Поскольку наша жизнь очень сильно завязана на Старшого, то привычен вопрос: «Где Старшой?» И допустим, Старшой ладит переправу. «Где Старшой?» — «Диодный мост через ручей намораживает». Или: «Где Старшой?» — «На лабаз иерархическую лестницу ремонтирует». Или: «Генератор идей дёргает. Ха-ха-ха!» При всей глупости выражения привились, и лестницу мы так и звали «Ерархической», а мост «Диодным». «Хе-хе, Диодный промыло!» Шуточки не спасали, и раздражение, в конце концов, привело

к тому, что Рыжик предложил мне совершить поступок, который... В общем, всё по порядку.

— Я не знаю, чо ты страдаешь, — сказал как-то ночью в кутухе Рыжик. Сказал негромко, подавая, что я, а не он извёлся. — Я всё продумал. Токо идти на путик надо, где меньше попадает, где вообще может зря провисеть. Он нам ещё спасибо скажет: «Всё равно кукши с кукарами* склюют. А тут хоть вас накормил. Сёдни поздно пришли, сварить не успел. Устряпался с этим снегом. Валит и валит... — говорил Рыжик со Старшовскими интонациями. — Молодцы, чо скажешь. Сами о себе позаботились, не всё батьке за вами сопли вытирать, хе-хе».

Я даже рассмеялся, а удолетворённый эффектом Рыжик сменил тон на серьёзно-штабной:

— Смотри. У него на путике шестьдесят ловушек. Допустим, полста капканов и десять кулёмок. Кулёмки, хрен с ним, — не берём, там привада высоко, не дотянемся. Только время потеряем. Тем более полста капканов — это во... — он провёл лапой по горлу. — По двадцать пять кусочков на рыло. Куда с добром? Ну чо? — подвёл он торжествующе-гордо. — Делаем?

— Рыжак, ты чо, сдурел? Ты чо, не понял ничего? Это труба. Нельзя. Он тебя всяко-разно вычислит.

— В смысле — «меня?» А ты

* Кукары — так называют кедровок

чо — типа сам по себе? Ты такой честный? А я, значит, плохой.

— Да нельзя этого делать!

— Да тебе кто сказал-то такое? Чо за туземные правила? Ещё про обязанности скажи! Я, например, себя совершенно не чувствую... обязанным ему... Во-первых, он, смотри, в тепле, а мы в будках. Во-вторых, как он питается и как мы? Ты думаешь, нормально до ночи не жрамши бегать, а потом брюхо набивать так, что пошевелиться не можешь? Бочка и бочка. Смотреть дико... И всё одно и то же, каша и рыба, каша и рыба... — говорил он с напором. — Ты вообще в курсе, какой рацион должен у собак быть? Ну вот то-то! А он-то о себе не забыва-а-ает! — пронищательно протянул Рыжик.

— То рожки, то макаронки! Все эти соуса, кетчупа! Гречка, сечка, рис, пшёнка, манка, овсянка! Да! Эта ещё... как её? Ну как?.. — раздражённо забил хвостом...

— Полтавка?

— Да нет! Перловка! Перловка. Ну.

— Горох ещё.

— Ну, горох. Фасоль ещё. А картошечка! С салцем! Тьфу! Лук только зря он везде пихает, — Рыжик совсем раздражился. — А тут таз этот грызёшь-выгрызаешь...

Бывало, остатки каши замерзали в тазу, и мы их грызли, пытаюсь добраться до труднокусаемой области, где соединяется донце с бортиком. И так и

глядела оттуда мёрзлая каша со следами зубов...

— А соболей этих как он нас жрать приучал! — не унимался Рыжик. — Меня первый раз чуть не вывернуло. Такой духан у них... Бээээ... А ещё по рации...

— Рыжик заговорил, с грубой манерностью растягивая слова. — Ещё с таким довольством рассказывал: «Нее... — он снова стал очень похоже изображать Старшого: — Я своих приучаю... Сначала морду воротят. А морозцы придэ-эвят, как миленькие хряпать будут... хе-хе... Ни хрена... Голод не тётка...»

И он ещё добрал раздражения:

— А теперь прикинь, сколь он километров за день проходит, а сколь мы? Я в книге читал: «Промысловая собака пробегает в день расстояние, в 10 раз превышающее дневной переход охотника!» О как — в десять раз! Это не хрен собачий!

— За базаром следи!

— Да чо ты мне тут! Надоело всё! Ложь эта бесконечная... Собачье-несобачье... А главное: ему навалить на наши заботы! И ты хорош: «Наше, Собачье!» А сам за что стоишь? Помнишь, как мы клялись-стояли над скалами! Ты говорил: верность! Пусть они как хотят там! Чо хотят! А мы как пятьсот лет в той же шкуре бегали, так и бегаем! — Рыжик сменил тон на предупреждающий: — А снег оглубеет — мы вообще поплывём! Только уши

одни останутся. А он на снегоход — и алга! А от него вонища, сам знаешь какая! Погоде-е-е, — завёл он умудрённо, — я на тебя посмотрю, когда настоящие морозы придавят! Кто нам тогда за вредность доплатит? Так что нечего тут в благородство играть... Доигрались, что нас скоро на хасок поменяют. Видал вон, Коршунята чо творят!

— Ну, — согласился я, — последнее время он наше Собачье ни в грош не ставит, с Коршунятами тут миндальничал.

Коршунятами звали наших соседей по участку, из тех, про которых говорят «палец в рот не клади». Они пытались зарабатывать на всём и строили планы купли иностранных собак для катания богатых туристов. Кличка Коршунята — производное от фамилии Коршуновы. Не люблю говорящих фамилий, но тут бессилён. Так что извиняйте.

— Дак про то и толк! — с жаром подхватил Рыжик. — И не то что не ставит, а просто попирает. Просто па-пи-рает, — сказал он совсем по-Тагански, — и, кстати, вот Николь, она молодец... Она говорит... Ну чо ты морщишься? — наморщился на меня Рыжик и почесался, застучав по будке.

— Наши все дома! — сказал я, и мы захохотали.

— Хорош ржать, жеребятня! — рыкнул Таган.

— Да всё. Всё, дя, — сказал Рыжик и тихо добавил, покачав головой: — Ещё один. Задрали...

— и продолжил обычным голосом: — Дак вот Николь... Да ты чо опять?

— Да имя чо попалошное... — сказал я, щадя Рыжика и переводя неприязнь к манерной сучке на её имя.

— Нормальное имя. А чо? Лучше, как у вас: Соболь и Пулька?! Припупеть, как оригинально! Дак она грит — вот в городе, да? Там территория с фигову душу, у нас участок в десять раз больше. У них там ни леса не растёт, ни мяса не водится, ни рыбы, ничего, а живут распрекрасно! А тут вечная попа в мыле и каша мёрзлая раз в сутки.

Рыжик вдруг заговорил с примирительно-справедливой интонацией:

— Причём я не предлагаю брать путик, где попадает. Берём самый пустой. Где соболь раз в пять лет забредёт, да и то сдуру. Заморыш какой-нибудь. Всё равно пропадёт привада. А это его труд, между прочим. И наш. Ты, поди, этого глухаря найди, облай, потом добудь, обработай. На кусочки поруби. Проволочки к ним привяжи. Ни хрена себе! И всё этим тварюгам. Кедровкам этим, кукушам... Не выношу, как они орут. Дятлы эти... Долбят сидят! По башке себе долби. Дупло-гнёздник... — презрительно обратился Рыжик к воображаемому дятлу. Он всё больше набирался мощной Тагановской интонации. — Ага. А привада

через месяц выбыгает* — и с неё толку нуль. Всё равно её обновлять наа. Он нам ещё спасибо скажет. Мы, так сказать... обеспечим своевременное обновление приманки, что положительно скажется на результатах промысла. Не-е... — и он оглянулся, будто обращался уже не ко мне, а к какой-то пространной и заинтересованной аудитории: — Я считаю, тут надо чётко. Или — или. Так что думай. А то вечно будешь... х-хе... на подлайке... По попе лопаткой получать. А он твоих соболей будет на аукцион толкать... А ты мёрзлую сечку грызть... Или... полтавку... И зубьями клацать... — и добавил с грозным холодком: — Так чо? Со мной или как?

— Не, Рыж. Я не то что «или как». Я против. И тебе скажу: не ходи никуда. Беда будет.

— О-о-о, понятно, — потянул он презрительно. — Я думал, ты, правда, брат. А ты так... Временный напарник. Я думал, вместе — значит, вместе. На хрен ты тогда все эти сопли разводил над скалами?

И вдруг сказал резко и собранно: — Ладно. Разберусь, — и добавил, вставая: — Кашку жуйте. Счастливо оставаться. Да и надеюсь, ты Тагану не станешь передавать наш разговор.

— Чо, сдурел, да? Ты в курсе, что там есть капканы с очепами —

вздёрнет так, что лапу вывернет из сустава. И в мороз нельзя. Влетишь — и хана лапе.

— Да ба-рось ты, — развязно парировал Рыжик, демонстративно отдаляясь от меня. — Такие дела красе-ево надо делать. При звёздах. На бодряке. Я вообще шлячу не люблю. Когда сырость, снежина этот. Не моё. У меня в снег вялость. Неохота ниччо. А когда вызвездит с ночи! Это да. Мне Таган рассказывал, есть какой-то Ткач у них, дак тот только ночью работает, с фонарём. Грит, расстояния короче. Вообще мужик! У него литовка в каждой избушке, и он, представь, с осени собакам сено косит на подстилку. Они у него в отличных условиях, ну и отдача, сам понимаешь! А наш чо? Только орёт и шестом лупит. А раньше, Таган говорит, — исторически завёл Рыжик, — у бати его, дяди Вовы, кутухи были в угол рубленные... И кастрюли с полбочки. Понял? И одной рыбой кормил. По пятьсот центнер одного токо налима заготовливал! Дак у него и собаки как глобусы были... Этот пришёл: всю... инфраструктуру свернул на хрен!

— Как глобусы! Такие же сиие, что ль? Ой, не могу! Надо было тебя Глобусом назвать! А не Рыжиком! Глобус, ко мне! Опеть, падла, отъёлся!

Он было улыбнулся, но тут же улыбку свернул и продолжил:

— Да-аа, не ожидал я от тебя, Серый... такого поворота... Не

* Выбывает — от слова «быгать». Выветриваться, обезвоживаться, обветриваться, вымораживаться

о-жи-дал... Ты меня знаешь. Мне-то в гордык с тобой работать... А ты вон как. Ну ладно. Только потом не надо... примазываться... к чужим достижениям.

Рыжик вылез, побегал и, хватанув снегу, вернулся в кутух:

— Удивляюсь на тебя. Не хочешь по капканам, а сам в капкане. Сидишь и боишься вырваться. Ты разуй мозги-то. Я щас тебе открытие сделаю. Хочешь? Ну, слушай. С капканами. Можно. Спокойно работать! Я, например, сразу понял. Просто не надо на них на-сту-пать. Всё. Не наступай на железо. Спокойно, главное. Подошёл. Онюхал-осмотрел. И ставишь лапу. Там места валом. Это соболь — дурак, ему пофиг. Не понимает железа. А мы-то собаки! Запомни: от железа фон холода идёт! Всё, — Рыжик задумался, помолчал и продолжил философски: — Не знаю... Какая-то в вас несвобода, что ли... Таган, помнишь, рассказывал, что здесь раньше капканы на земле ставили. И мыши жрали пушнину не-щад-но. Потом с Саян, с Каратуза приехал какой-то Крюков ли, Хрюков, хе-хе... и стал на жердушки ставить — и всё. И все начали жердушки лепить. А чо раньше-то? Где мозги были? Сидели, соболей штопали, глаза ломали при лампах. Керосиновых. Я вообще в шоке.

— Да чо ты мне тут про Каратуз? Я те про то, что приваду трогать нельзя! Ты чо такой!

— Да кто сказал-то, что нельзя? Старшой, что ли, этот преподабный? Он кто такой-то?

— Он Старшой.

— Да ладно тебе, — презрительно-успокоенно сказал Рыжик и, протяжно зевнув со скулинкой, закруглил разговор: — Отбива-а-аться надо.

Хотя с Рыжим я говорил решительно, внутри всё рвалось. Я то собирался идти с ним на преступление, обосновывая тем, что при мне он не влетит. То почти соглашался с его правдой, а то не соглашался, но выбирал братскую дружбу без всякой правды и обоснований. За ночь Рыжикова правда вытекала из меня, и я понимал, что так делать нельзя, и переживал, что почти предал Старшого с Таганом. И гадал: как и дружбу не обидеть, и не участвовать. Даже подумал пообещать, а потом сказать, что лапа заболела. И хотел, чтоб всё как-нибудь сделалось: чтоб Старшой решил заменить накроху, велел нам старую съесть, и мы бы пошли. Гаже не было состояния: я брата любил.

Однажды мы с Рыжим притащились особенно поздно — Старшой с Таганом давно вернулись в избушку. Мы, бредя сзади, наткнулись на след, поковыляли по нему и, найдя соболя в корнях, много часов пролаяли. Днём было тепло, а к ночи стало на глазах подмораживать. Рваные тучи понеслись с северо-запада, открыли закатное небо, и гнутые ветви кедров на его фоне

казались особенно чёрными и пучкастыми, а прозрачно-огненные просветы — пятнистыми от кедровых кистей.

Мокрая шерсть мгновенно бралась панцирем. Пришли во льду, с ледышками меж подушек. У меня кровил, болтался коготь — я его отодрал, когда рыл соболя в корнях и камнях, и не заметил в азарте, в трудовом упоении... В ощущении своих окрепших лап, наросшей на подушках кожи, толстой и тугой... В восторге от сочетания несовместимого — снега и угластных камней, горной грозной породы, обрывков мха и богатейшего терпкого запаха: земли, корней и плесени... И всё крутилась, поглощала мысль: что жизнь сырьём берём! И всё стояла перед глазами освещённая закатом сопка с сахарно-розовым от кухни лесом, белая бугристая плешина на склоне — каменные россыпи в чехле снега, ворчание соболя... И как выкатились на затвердевшую лыжню и бежали, толкаясь и кусаясь.

Старшой обрадовано выскочил: на ворчанье ли Тагана, которого запустил в избушку, или на грохот пустого Таганьего таза, из которого Рыжик бросился выгрызать остатки каши. Старшой громко и радостно выговаривал: «Где шарились, а? Ах вы, собаки! Ах вы, морды!» — и вынес таз с кормом, который давно остыл и ждал в избушке. Накормив, Старшой в виде праздника

запустил нас в избушку. Мы мгновенно забрались под нары, где Рыжик начал сопеть, чихать и чесаться, колотить лапой, и Старшой сказал:

— Кто там? Наши все дома!

Никогда не забуду. Тихий бледный свет ночника. На коврике в ногах Старшого Таган. Старшой с ним разговаривает и почти советуется, а тот лишь едва прижимает уши и хвостом даже не шевелит, а обозначает готовность.

Таган лежал на полу, но его подстилка — старый детский матрасик — казалась каким-то треном. Тихо подпевала печка-экономка, верещала убавленная радиостанция, которую Старшой слушал вполуха, и такой покой стоял в полуосвещённой избушке, что на всю жизнь заморозил образом счастья.

Старшой глянул на будильник и добавил громкости рации. Там что-то нудно пикало, да далёким фоном шли сразу несколько разговоров.

— Хорогочи! Хорогочи Скальному! — вдруг неожиданно близко заговорил голос, искажённый до режущего комариного. Старшой покрутил тембр, и из писклявого обратил в неузнаваемо загустевший, вязнувший и одновременно гудящий, будто Скальный говорил в дупло, а потом вернулся к средне-естественному.

— На связи, Скальный! Там Курумкан не вылезал?

— Да нет пока...

— Ясно, — Старшему самому так нравилась тишина и редкое наше единение, что говорить особо не хотелось, но он поддержал разговор: — Ну что? Как делишки? Пробегает соболек?

— Да пробегать-то пробегает, а кобель меня новый замучил, — Скальному было охота, чтоб расспросили, и он не торопился всё выкладывать.

— Чо такое?

— Да чо-чо? Соболей мёрзлых в капкане портить повадился! Задолбался.

— Отметель как следует этим сободем по сусалу.

— Да метелил. Первый раз такой соболек ещё попался, котяра, трет-тый цвет, здоровый. Так отходил! Потом этого соболя полночи штопал, глаза сломал. На следующий день ещё пять штук... Подбежит, пожаткает и, главное, удирает тут же! Как понимает.

— Да всё они понимают! — с возмущением сказал Старшой. — А рабочий хоть кобель?

— Ну как? Молодой... Шибких достижений нет... В пяту* тут погнал.

— Нда... Как бы убирать не пришлось. Это бесполезно. Только нервы трепать будет...

— Но. Я и сам думаю. Жалко, конечно... Но с такой охотой — не знай...

Тут вмешался совсем близкий голос:

— Хорогочи! Хорогочи Курумкану, приё-ём!

— Отвечаю, Курумкан! Обожди, Скальный. На связи! На связи, Курумкан, как понимаешь меня?

— Да нормально. Нормально идёшь. Ты это... чо, когда подъедешь?

— Подъеду-подъеду, только послезавтра. Как понял меня?

— Понял, понял, Хорогочи!

— Добро. Мне с работой две избушки пройти надо. Продержишься?

— Ну, понял, понял. Продержусь. Куда деваться! Я думал, завтра. Ладно. У тебя это... лебёдка есть? Да. И пила?

— Есть, есть, Курумкан! Верёвки есть. Сколь там километров до места?

— Восемь! Восемь примерно!

— Понял, восемь!

— Там, я боюсь, шуги бы не натолкало, сверху открыто всё. Там горы. Она шиверой сплошной течёт! — сказал он про реку.

— Ладно, ладно. Не кипишись. Вытащим.

— Хорошо, ещё рация здесь старая. А батарею! Батарею вез сюда! Тоже там. Не знаю, будет работать — нет. Она, правда, в мешке. Закрытое всё. Может, не промокла. Ладно, давай — питание садится. До связи!

— До встречи уже!

— Давай аккуратно там! Я, короче, рацию не выключаю, пусть на приём пашет. Вы меня не орите.

* В пяту — значит в сторону, противоположную той, куда убежал зверь

— Ты это, Курумкан, — вмешался Скальный, — ты выше дыры возьми доски на ребро поставь и наморозь там, ведром прямо лей, лей... Проколет — потом чёрта выгашите!

— Да ково доски! — вмешался мужик с позывным Сто Второй. — Ты чо, не понял, Скальный? Он же пилу тоже утопил. Ты это... Курумкан! Ты сходи туда завтра и просто жердей, просто жердей накидай, — кричал Сто Второй, — на подвид опалубки, и намораживай! Всё равно тебе делать нехрен, пока Вовка едет, хе-хе. Хорогочи, а руль-то хоть торчит?

— Да какой руль? Полностью ушёл. Там метра два. Ещё с нартой.

— Да... а мы прошлой весной... «армейца» утопили в пропарине, на гусей ездили... В навигатор забили место. Всё. Нашли. Зацепили, а Енисей возьми и пойди! Так и волокли, пока не остановился... Метров сто, наверное. Как раз на яме. Ещё самолов чей-то подцепили.

— На яме, говоришь? — откуда-то издали заскрипел мужик с позывным Горелый. — А слышь, туда пока тащили, стерлядок случаем не набилось под капот?

Таган только хрюкнул и покачал головой.

— Ладно, мужики, до связи. Ехать завтра, — Старшой решительно выключил радиостанцию. — Щас пойдёте собирать... Да, Тагаш?

И ещё сосредоточенно полезал, а потом подкинул в печку и... сказать «выгнал» не поворачивается язык: попросил нас из избышки. Рыжик не хотел вылезать из-под нар. Я до сих пор не понимаю, было ли это простое нежелание идти на холод или он по правде что-то предчувствовал.

Обычно мы хорошо слышали с улицы, как Старшой растопляет печку: стаскивает дверцу-крышку, пихает поленья, ударяя в гулкое нутро печки, и даже запах поджигаемой берёсты доносился до наших носов. Потом открывалась дверь, и раздавался весёлый окрик: «Мужики, как ночевали?»

Ночью настолько крепко и алмазно звездануло, что я зарылся в сено и свернулся в такой тугой калач, укрыв нос хвостом, что проспал и звук печи, и запах берёсты, и проснулся от окрика: «Где Рыжак?»

Утро было седым и морозным. Напротив избышки середка реки не стояла, и там трепетно-живо текла ребристая чёрно-синяя струя. Пар белым пластом висел до поворота. Скалы, кубически расчерченные трещинами, были как-то особенно пятнисто и грозно покрыты инеем. А голые лиственницы стояли меловыми, и их выгнутые ветви казались толстыми от куржака. Я выскочил на берег. Таган сидел на льду и замерше смотрел вдаль. Рыжика не было.

На лице Старшого стоял сумрак жесточайшей досады.

Он долго орал Рыжика со всех возможных точек, несколько раз стрельнул из карабина. Взбудораженный и вдохновлённый предстоящей встречей с Курумканом, своей спасательной ролью, Старшой был настолько возмущён поступком Рыжика, что слова «просто гад», «вредитель» и «паразит» были уменьшительно-ласкательными обращениями.

Потом он сказал: «Да и хрен с тобой» и «Пошёл ты!» — не буду, мол, даже прислушиваться и оглядываться, но прислушивался и оглядывался весь будущий день. Старшой завёл снегоход, и пока тот грелся, плотно укрытый брезентом, крепко увязал нарту, и мы, наэлектризованные предстоящей дорогой, заметались, в какую сторону бежать, потому что база стояла в целом пауке направлений. Старшой съехал на берег и помчался краем, льдом, косо повисшим на берегу, когда вода упала. Он нёсся в плотном бело-голубом облаке, и мы заходились за ним в неистовом скачке, а потом по извилистой, пропиленной по густой тайге дороге поднялись на гору. Там Старшой остановился у длинной кулёмки и долго слушал, сняв шапку и вытянув напряжённо шею. Слушал пристально, скусывая сосульки с усов, и капли снежной пыли таяли на красном лице.

И потом, останавливаясь у капканов, так же чутко прислушивался. Но не доносилось ни

далёкого лая, ни скулежа «подождите, бегу!» Только, остывая, щёлкало что-то в снегоходе, да шипела, капая на раскалённое железо, влага талого снега... И так разлётно неслось просторное крканье кедровки, что, казалось, она где-то далеко-далеко, хотя была совсем рядом. На острой, укутанной в кухту ёлке сидел шарик с клювом — поражающе маленький по сравнению с эховым обобщающе-таёжным криком...

Были старые следы, соболь не спешил бегать по морозу и, видно, лежал. Попала пара штук. В обед приехали в избушку, подростую метровым снегом на крыше. Будто довозведённая, она выглядела монументально. Старшой затопил печку, попил чаю и пошёл по береговой дороге. Возвращаясь, он надеялся, что Рыжик встретит у избушки. Рыжика не было. Сторона, с которой мы пришли, наша дорога выглядели особенно мёртвыми, молчащими.

На следующий день к обеду мы добрались до Верхней и оттуда двинулись в сторону Курумкана. Ближе к его зимовью навалились будоражащие запахи, с отвычки особенно диковинно-чужие: собак, дыма, корма, всего того, что так остро и едко говорит о жилье.

Собаки Курумкана были привязаны. Курумкан выскочил в клетчатой рубахе — распаренный, лохмато-бородатый.

Из двери прозрачно и клубисто валил плавленый воздух. Старшой стоял грозно заснеженный, белобородый и нещадно воняющий выхлопом. Нас тут же привязали, чтоб не задирались. У Курумкана была жемчужная со светлыми глазами сучка и лохматый кобель — серый, с рыхлой чёрной остью.

С вечера Старшой с Курумканом напилили досок, утром поехали к снегоходу. Своих собак Курумкан не взял.

Застывшая ломанина треугольников на месте, где ушёл снегоход, была в бархатном куржаке. Доски твёрдо бумкнулись на лёд, скользя и разъезжаясь. Курумкан попробовал топорикам, как нарост лёд, и отскочившая от удара ледышка поехала по льду, и я не удержался и бросился догонять. Старшой пилил лёд, и из реза бурлила вода с пузырями, зелено заливая заиндевелый лёд со следами аварии. Хорошо, что снегоход уходил постепенно, и Курумкан успел выбраться.

Мне, если честно, не очень интересна вся эта возня с железками, которые Старшой с товарищами без конца топят, достают и снова топят, все эти таскания то лодки снегоходом, то снегохода в лодке и чувствование ими себя необыкновенно при деле, а тебя нахлебником. У Курумкана, например, непроходимые пороги, целое ущелье километров десять. До порогов осенью доехал и упёрся. Но не

на того напали: за порогами он сделал вторую лодку-деревяшку и там на ней бороздит. Заезжает весной по насту с племяшом на двух снегоходах, один оставляет в гараже, а на другом они выезжают. Какая-то вечная волк-коза-капуста.

В общем, выпилили майну. Старшой срубил берёзовый дрын с крепким сучком и, пока отёсывал, умудрялся рассуждать, как он любит берёзу, хотя все её «держат не за таёжную» и признают кедру и лиственку. Топорик стеклянно отскакивал от мёрзлого дерева, но Старшой терпеливо обрубал сучочки, которые и не особо мешали. Он, громко дыша, говорил, как любит «эх, свалить берёзку и переколоть по морозцу» и что обязательно по приезде так и сделает. Сучок на толстом конце он оставил — это был крючок.

Если приблизиться к воде вплотную, белый снегоход прекрасно проглядывался в струистой толще.

— Да ты где есть-то?! — шарил Старшой в майне, подёргивая дрын.

Берёзина, только ещё скользкая как кость, в воде стала мокрая, тёплая и будто мягкая. Наконец нащупали бампер и приподняли снегоход — в прозрачайшей голубовато-зелёной воде он ярко, в бирюзу, светился белым капотом и был будто увеличенным. Вода неслась стремительно и неровно, и белый капот

дробился, дрожал... Приподняли и зацепили кошкой (до чего меня смешит это название, совершенно глупое — кошка никогда не полезет на верёвке под воду!).

Врубили в лёд крепкую вагу, к ней подцепили лебёдку и подвели доски под снегоход. Их давило течением, и одному надо было держать. Взяли снегоход крюком за бампер и потащили. Несмотря на мою нелюбовь к таким упражнениям, удивительно ладно у них получалось и красиво. Вытащили и снегоход, и сани с грузом, обильно отекающим и тут же берущимся корочкой... В багажнике снегохода оказалась фляжка, и мужиков это страшно насмешило. Открыли капот, что-то выкручивали, потом перевернули снегоход вверх ногами, и лилась вода. Развязали груз, поставили снегоход в сани. Поехали. В избушке сняли мотор и ещё какую-то коробку. К обеду следующего дня утопший снегоход уже работал, сияя фарой и увешивая сенки синими нитями.

Вечером Старшой с Курумканом гуляли. То сидели в избушке, громко базляня, то вываливали, продолжая разговор, моментально менявший направление, как только перед их глазами оказывался снегоход, собака, лыжи или чьё-то ружьё. Один моментально спрашивал: «Ну, как тебе твой снегоход (собака, лыжи, ружьё)?» — и начинал рассказывать, какой отличный снегоход (собака, лыжи, ружьё)

у него самого, причём с полным осмотром, показом и приглашением испытать. До испытания нас, конечно, не доходило, но в один из выходов нас зачем-то отпустили. Хотя до этого категорически посадили на привязки, на что была потрачена уйма времени и слов, куда кого садить. Насидевшись, мы для начала сорвались и пробегались, а по возврату началось то, чего опасались Старшой с Курумканом. Нам с Пулькой делить было нечего, и, наоборот, нашлась масса общих тем, а вот Таган с Сободем устроили стратегический кризис. Рыча небывало грозно и вздыбив загривки, они минут десять деревянно ходили друг перед другом. С дрожью и замедленной протяжкой в движениях. Никому не хотелось быть покусанным, но Соболю обязан был показать, кто хозяин, а Таган — кто воин. В общем, обошлось. Но за кое-кого было стыдно. Старшой при Курумкане разговаривал с нами показательно грубо, в духе «а ну нельзя смотре-е-еть, кому сказал нельзя-я!», а выходя в одиночку, слюняво и льстиво к нам примазывался.

Таган отворачивался, а когда Старшой с Курумканом удалились в избушку с чировой* строганиной на дощечке, Таган фыркнул, а Соболю сказал:

— Да расслабься. У моего такая же ерунда. Чуть попадёт за

* Чир — изумительная белая рыба из лососёвых

кадык — и пошло. То мил, то debil... Терпеть не могу... Ещё запашина этот... Брррр...

Утром разъехались. Старшой, мрачней, прогнал через две избушки ходом. У базы скатились на реку вслед за Старшим и, погонявшись за норкой, так и бежали тем берегом, пока не оказались напротив избушки, отрезанные полыньёй. Заостряю на этом внимание, чтобы подчеркнуть противоречивость нашего нрава: в самый трагический миг беспокойства за Рыжика мы развлекались с норкой, а потом прозевали полыньёю. Усевшись на льду и слыша, как Старшой затопляет печку, возится с санями и гремит нашими тазами, мы взорали жалобно и честно, доказывая, что есть вещи, которые даже самые знающие собаки, вроде Тагана, не понимают. Это касается вообще пространственной геометрии: куда огибать, где что зацепится, куда отыграет, заломит и прочее.

Старшой вышел-поговорил с нами, долго махал руками, показывая, куда обегать, а мы виляли хвостами и не могли понять, зачем нас гонят обратно на Курумкан, раз мы домой хотим. Собаку невозможно прогнать или заставить что-то обойти, будучи от неё на расстоянии, хотя накоротке мы понимаем всё. Много противоречий в Собачьем мире. Но главное не противоречья искать, а Собачье любить.

Старшой это знал и поехал за нами, терпеливо выгоняя полверсты полыньи туда-обратно. Когда приближался, мы только виляли хвостами, а когда подъехал и развернулся, весело вскочили и побежали.

Не считая свежих Старшовских разворотов, у базы всё было мертво и присыпано тонкой синей пудрой, только клесты набегали возле чайной заварки. Особенно безжизненно выглядел кутух Рыжика с ошейником на гвоздике и цепочкой. Когда прогрелась избушка, Старшой вдруг сел на снегоход и рванул по путику. Мы с Таганом переглянулись. Мороз, будь здоров какое расстояние, отпаханное без передыха, и ещё полынья эта: команды нет, и можно остаться. Потом я не выдержал, больно тревожно было на душе, и побежал следом. А перед тем как побежать, оглянулся: тяжёлым взглядом смотрел на меня Таган. Уже подходил к концу тупиковый путик, тот самый, который, по мнению Рыжика, плохо «кормил», как вдруг раздался выстрел и краткий взвизг. Меня на мгновение замутило, и подкосились лапы. Потом навстречу пронёсся, ослепив фарой, Старшой: «Айда, Серый, айда!» — крикнул он громким и голым голосом. Я побежал за ним, не ощущая ни мороза, ни выхлопа и чувствуя, как нелепо трясётся моя нижняя челюсть, да и всё собачье лицо.

— Завтра гляну, чо там было, — сказал Таган мрачно. — Да понятно, капец лапе. В конце, говоришь, дороги?

— Ну.

— Там сначала россыпья, ну, камни под снегом, шапки такие прямо, и голый склон справа, а потом гарь подходит. Ещё копанина медвежья, но её засыпало.

— Да-да. Там.

— Там на земле один капкан единственный. Остальные жердушки. Знаю я этот капкан. Третий номер. Полотняный.

— Еёёёё! — вырвалось у меня. Капкан был без тарелки, с натянутой на рамку тканью, нитка связывала тряпку с насторожкой. Рыжик такие не знал.

— Но. На росомаху. Это — всё. Считай по локоть. И сколько ещё отморожено... Считай четвёртый день.

— Да почему его нельзя было... оставить-то? Ну и бегал бы на трёх лапах!

Видно было, что Таган не хотел разговаривать. Он и смотрел вбок. И несколько раз делал движение повернуть ко мне голову и

открыть рот, но останавливался. Потом всё-таки сказал раздражённо:

— Да так не делается потому что! — и передёрнул шкурой, а потом повернулся и посмотрел в глаза: — Потому что воровитость никогда до добра не доводит. Потому что, если пошёл по капканам — затравился, вкус почувал — всё, не остановишь. Бесполезно. Дობро б ещё работник был. А то тоже... Пятку сколько раз гонял. Облаивался. Я уж молчу, как говорится... А потом: сейчас промысел, самый разгар, куда его? Это просто обуза, понимаешь? Да и кормить троих... Раньше думать надо было... У нас вон Серый был, давно совсем... — и он заговорил медленней, как-то нащупав почву: — Тебя в честь его назвали. Дак Старшой его до последнего дня с ложки кормил... Когда у него лапы отнялись. До самого последнего дня... От так от... — Таган помолчал. — А как у... как убивался потом... — Таган отвернулся и хрипло фыркнул-храпнул, а потом добавил неестественно громко: — Так что гордись.

(Продолжение следует)